

Михаил Булгаков

ХАНСКИЙ ОГОНЬ

РАССКАЗ

КОГДА солнце начало садиться за орешневские сосны и бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяна Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала:

— Иона Васильич! А, Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хвораая она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло ноготком и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

— Аль зубы? — сострадательно прощамкал Иона.

— Зу-убы... — вздохнуло белое.

— У... у... у... вот она, история, — пособолезновал Иона, — беда! То-то Цезарь воеет, воеет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке — как рукой снимет.

— Иона... Иона Васильич, — слабо сказала Татьяна Михайловна, — день-то показательный — среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

— Ну, что ж... Велика мудрость. Пушай. И сами управимся. Присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман и поминай как звали. А отвечать — кому? Нам. Картину — ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

— Дуняша с вами пойдет — сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

— Ладно, ладно. А вы — пометом. Доктора — у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

— Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом:

УСАДЬБА-МУЗЕЙ

Ханская ставка

Осмотр по средам, пятницам
и воскресеньям
от 6 до 8 час. веч.

И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках-хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.

И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные — правая толще левой, и обе разрисованы на голених узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен и борода подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл — истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный, — злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, — принесла нелегкая. И чего Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пушай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колесами, широко светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, закулился и пропал.

— Ноги о половичок вытирайте, — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь...» и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подыматься по белой лестнице, усталой малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, ря-

дом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидели пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями и белые простенки с черными полотнами портретов и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетаая куда-то, вились и розовели амуры.

— Смотри, смотри, Верочка, — зашептала толстая мать, — видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

— Растрелли строил. Эго несомненно. Восемнадцатый век.

— Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько кашлянув. — Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, полтора ста лет назад. Вот как, — он вздохнул. — Пра-пра-прадед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

— Вы не понимаете, очевидно, — ответил голый, — при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не существует и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?

— Руководительша, — начал Иона и засопел от ненависти к голому, — с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для кой-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

— Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

— Бросьте, товарищ Антонов, — примирительно сказал в толпе девичий голос.

— Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вязами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздьи кенкетов глядели со стен и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбежался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

— Кто паркет делал?

— Крепостные крестьяне, — ответил неприязненно Иона, — наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

— Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунейдцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости господи», — вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками.

Отливая глянец, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник — повелитель Малой орды хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистошима в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы—ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука...

Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

— Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону.

— Это бог знает что такое... Верочка, смотри, какие портреты предков...

— Любовница Николая Палкина, — продолжал голый, поправляя пенсне, — о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имени вытворяла — уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...

Иона перекошил рот, глаза его налились мутной влагой и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуха. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями — группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканые сплошь текинскими коврами, с калянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игровой, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы:

— Это кто же такой?

— Последний князь, — вздохнув, ответил Иона, — Антон Иоаннович, в квалегардской форме. Они все в квалегардах служили.

— А где он теперь? Умер? — почтительно спросила дама.

— Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале, — Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

— Да плюнь, Семен... старик он...

И голый заикнулся.

— Как? Жив? — изумилась дама. — Это замечательно!.. А дети у него есть?

— Деток нету, — ответил Иона печально, — не благословил господь... Да. Братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных грендерах служил. Он нездешний. У того имене в Самарской губернии было...

— Классный старик... — восхищенно шепнул кто-то.

— Его самого бы в музей, — проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверх и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте — княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамках, брошенная подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя... Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильiardную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.

Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым зашвистали пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы — гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз — на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых и до сумерек

можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях.

Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы как на зло не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел.

Во дворце были шаги. Они слышались со стороны бильярдной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилося часто-часто, в перебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда! — мелькнуло в голове у старика. — Вот оно, вещее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

— Что вы? Господин? — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. — Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи, боже мой... — Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски:

— Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

— Один... — переведа дух, молвил Иона. — Да вы зачем, царица небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул вверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

— Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

— Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.

— Успокойся, Иона, успокойся, бога ради, — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо, — услышать может кто-нибудь...

— Ба... батюшка, — судорожно прошептал Иона, — да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

— И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!

Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

— Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвигным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.

— Ах, как ты подряхлел, Иона, боже, до чего ты старенький! — заговорил князь волнуясь. — Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.

— Ну, полно, полно, перестань...

— Как... как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона. — Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и борода... И как же вы вошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

— Через малую веранду из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

— Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что ли?

Лицо у князя мгновенно постарело.

— Умерла княгиня, умерла в прошлом году, — ответил он и задержал ртом, — в Париже умерла от воспаления легких. Так и не увидела родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все богу молилась. Видишь, бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом доньшке таял закат.

— Царствие небесное, царствие небесное, — дрожащим голосом пробормотал он, — панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

— Нету?

— Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

— Ну, вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

— В сам деле, ваше сиятельство, — он умоляюще поглядел на князя, — как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны — с правой.

— Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал:

— Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишу тебе из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние... На-ародное... (зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой). Народное — так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И

Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? — Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржavo заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распорядился, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он спрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.

— Цел-то цел кабинет, — бормотал Иона, — да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

— Кем запечатан?

— Эртус Александр Абрамович из комитета...

— Эртус? — картаво переспросил Тугай-Бег. — Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

— Из комитета он, батюшка, — виновато ответил Иона, — из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

— Ах, вот как! Библиотеку, — князь ощерился, — что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

— Хватит, ваше сиятельство, — растерянно хрипнул Иона, — ведь видимо-невидимо книг-то у нас, — мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съезжился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

— Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

— Этого Эртуса я повешу вон на той липе, — князь белой рукой указал в окно, — что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

— А рядышком, — продолжал Тугай нечистым голосом, — знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен Антонов, — он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. — Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне, — Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками, — ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

— Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? — Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. — Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем, Иона, большее... Получше, — князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы.

— Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что, — у князя в руках очутился бумажник, — бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

— Ни за что не возьму, — прохрипел Иона и замахал руками.

— Бери! — строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. — Только смотри тут не меняй, а то пристанут — откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

— Печать-то, батюшка, — жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

— Вздор, — сказал Тугай, — ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа; мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху:

Алекс. ЭРТУС

История Ханской ставки

ниже:

1922—1923.

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь недвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.

— У-у, проклятая собака, — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

— Фу, — прошептал он, — с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

— Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были влоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

подавляла белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

— Не может быть, — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. — Это сон. — Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: — Одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидел идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел», — опять забормотал: — По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я — тень? Но ведь я живу, — Тугай вопросительно посмотрел на Александра I, — я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость, — Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам, — я жалею, что я не застрелил. Жалею. — Ярость начала накипать в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

— Ах, боже мой, — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у Хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он

взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

— А т... чума! — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По испортому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

— Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнагу, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

— Теперь надежно, — сказал Тугай и заторопился.

Он прошел боскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму...

О РАССКАЗЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

«ХАНСКИЙ ОГОНЬ»

Михаил Булгаков известен не весь. Даже — литературоведам, даже — его биографам. В газетах и тонких журналах 20-х годов — а жизнь некоторых из этих журналов была весьма скоротечна — осталось множество не внесенных ни в какие библиографии его произведений. В том числе десятки газетных фельетонов, отмеченных его великолепной фантазией и природным сатирическим взглядом на жизнь. Множество очерков. И — что особенно важно — прозаические произведения и фрагменты прозаических произведений, явившиеся существенными вехами в его творчестве.

Булгаков не берег свои рукописи. Сохранившийся — и весьма обширный — его рукописный архив начинается с 1929 года, когда Елена Сергеевна Шиловская, впослед-

ствии Булгакова, стала самым близким ему человеком. В течение многих лет она аккуратнейше хранила все, что в разное время попало в ее руки — рукописи, публикации, корректуры, черновики. Все сочинения Булгакова, опубликованные в 60-е годы, пришли к нам из ее рук — и «Мастер и Маргарита», и «Театральный роман», и полный текст «Белой гвардии», и «Записки юного врача». Но о существовании некоторых ранних публикаций Булгакова она не знала. Не знала, в частности, что в цикл «Записок юного врача» входил по крайней мере еще один рассказ — «Звездная сыпь», что Булгакову принадлежала такая великолепная вещь, как рассказ «Ханский огонь».

С осени 1921 года М. Булгаков в Москве. Среди многочисленных его литературных планов этого периода — мысль о пьесе, одним из персонажей которой должен стать князь Ф. Юсупов, участник убийства Распутина. 17 ноября Булгаков пишет матери в Киев: «Передайте Наде (Н. А. Земской, сестре писателя. — Л. Я.)... нужен весь материал для исторической драмы — все, что касается Николая и Распутина в период 16- и 17-го годов (убийство и переворот). Газеты, описание дворца, мемуары, а больше всего «Дневник» Пуришкевича — до зарезу! Описание костюмов, портреты, воспоминания и т. д. Она поймет!».

Драмы Булгаков не написал, но какие-то материалы, по-видимому, собирал и летом 1922 или 1923 года (возможно, оба лета) в Архангельское, подмосковное имение Юсуповых, а к этому времени государственный музей, ездил. В конце 1923 г. написал замечательный рассказ «Ханский огонь».

Булгаков не случайно дал другое название описанному им дворцу. Образные впечатления Архангельского сдвинуты и свободно перекомпонованы им, как свободно перекомпонована уже никого не интересующая в деталях история одной из могущественнейших в царской России дворянских фамилий. Посетители в рассказе по белой лестнице с малиновым ковром поднимаются в парадные комнаты второго этажа, где-то внизу оставшая библиотека, тогда как во дворце Архангельского парадные залы находятся на первом этаже, а библиотека — огромнейшая юсуповская библиотека — размещалась в более скромных комнатах второго. И все-таки мы узнаем белых богов на балюстраде, овальный бальный зал с радостно возносящимися, резными вверх колоннами, и роспись потолка, огромную, парящую, «грозящую с тонкой нити сорваться в провал» люстру, и другой, «Императорский», зал, стены, покрытые темными полотнами с портретами царей и цариц, и даже портрет родоначальника лихого княжеского рода, написанный «по неверным преданиям и легендам». Правда, для большей выразительности повелитель Малой орды хан Тугай — «раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями» — ссажен Булгаковым с белого коня, на котором сидит на старинном полотне в Архангельском ногайский хан Юсуп, родоначальник князей Юсуповых.

Перекомпонованные, но живые, второю жизнью живущие приметы Архангельского волнуют, как волнуют узнаваемые улицы Киева в «Белой гвардии» и пейзажи Москвы в романе «Мастер и Маргарита», тоже непременно и неуловимо измененные.

Но еще больше, чем с ненаписанной драмой и Архангельским, этот рассказ связан — приметами не внешними, а глубокими, внутренними — с романом Булгакова «Белая гвардия», над которым писатель работает в том же 1923 году (к весне 1924 года роман закончен), связан стилистически, образно, идейно, связан единством размышлений о бесповоротности краха старого мира.

Как и в «Белой гвардии», публицистическая, страстно бьющаяся мысль автора убрана в глубины образов, прикрыта кажущейся ровной объективностью автора, ибо Булгаков той поры — писатель взволнованный, ищущий — считал художественно недопустимым слишком явно подсказывать читателю свои оценки. В «Белой гвардии» Булгаков показал тех из числа защитников старого строя, кого считал лучшими — Най-Турса, Малышева, людей, в конце концов сложивших перед будущим свое оружие. Враг в рассказе «Ханский огонь» другого типа — яростный, непримиримый. Штрих — отмеченное вскользь внезапное сходство Тугай-Бега с его предком на портрете, — и за жестокостью и злобой этого образованного, «в золотых очках колеса-ми» человека вдруг приоткрывается нечто, не новой, не революционной — самой Рос-

сии враждебное, и тянет угрозой далеких столетий, древним, незабытым дымком Батыевых пожарищ.

В этом произведении Булгаков, как и в «Белой гвардии», стремится запечатлеть старый мир в вещах. Мир вещей — в романе привычных и теплых, в рассказе роскошных, музейно драгоценных, с обилием загадочных старинных названий, исчезнувших даже из словарей — карсельские лампы, кенкеты, эспантоны, боскетные... Мир вещей, столько лет символизировавший в глазах их владельцев незыблемую прочность бытия, определявший, казалось, самую человеческую ценность тех, кому эти вещи принадлежали. И так просто, так остро возникающая в рассказе антитеза этого мира — живая толпа на драгоценных коврах и паркетах дворца, смеющаяся, лопочущая толпа — девушки в стоптанных туфлях, без шляп, парни в сапогах и рубашках защитного цвета, рассматривающие эти столетиями накопленные богатства с добродушным любопытством и только, — представители нового, бедного вещами, но безусловно прочного мира. Как странный символ, как гипербола этой аскетической «безвещности» 20-х годов проходит повергающий в отчаяние Иону диковинный «голый», самоуверенный человек, на котором ничего нет, кроме шорт и клеенного пенсне. Не сомневаюсь, что Булгаков видел такого «голового» в полные парадоксов 20-е годы, и ирония по поводу столь крайнего презрения к обычаям и вещам принадлежит, конечно, писателю. Но ненависть к «голому» — это не авторское. Это старческая ненависть вконец растерявшегося под напором событий Ионы. Это ненависть Тугай-Бега, в дерзости «голового» улавливающего опасность и вызов.

Герои «Белой гвардии» постигают необратимость крушения старого мира в битвах гражданской войны. Перед Тугай-Бегом она раскрывается здесь — в крушении авторитета вещей, по-прежнему прекрасных и целых, только сменивших хозяев, в смехе толпы, проходящей по залам, в записях научного Эртуса, уже инвентаризирующего, как доставшуюся в наследство вещь, самую историю князей Тугай-Бегов. Здесь открывается Тугаю самое главное: «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему». Формула, подобная той, которую несколько лет спустя произнесет со сцены МХАТ другой герой Булгакова, полковник Турбин: «Народ не с нами. Он против нас. Значит, конечно! Гроб! Крышка!» — хотя Турбина этот вывод приведет к совсем другим поступкам. И рядом с Турбиным странной тенью крушащегося мира снова возникнет растерянный старик — сторож Максим, так смахивающий на Иону.

«Ханский огонь» впервые опубликован в журнале «Красный журнал для всех», 1924, № 2. Не переиздавался.

Публикация Л. ЯНОВСКОЙ.